

Арсен ТИТОВ

г. Екатеринбург

СЕНТЯБРЬ

Из сборника

«Маленькие повести о войне и мире»

повесть

1

Вот что можно сказать о Сане. Он снова увидел во сне липы. Стволы их тускнели какой-то мезозойской грязью. Он знал, что это — липы. И он любил липы. Но он всегда отмечал, что их кора имеет цвет засохшей мезозойской грязи. Он было выставился к ним. Но вдруг под ними загалдели. Он остановился и постарался понять, кто и о чем загалдел. Различить, однако, ничего не смог. А проснулся — и в самом деле около соседнего дома нарочно громко, до срыва глоток, ржали и кричали. Он подумал, что так может ржать и кричать только русское молодое дурье и русская пьянь, потому что ни то ни другое никогда не получает отпора.

Он спал в балконной лоджии. По ночам уже было холодно, уже ложились заморозки. Но он открывал окна, стелил на пол матрац и укрывался расстегнутым спальным мешком. В теплые ночи — только простынкой. Бывало, донимали комары. Он укрывался с головой и оставлял наружу лишь нос, так как с детства не мог переносить спертого воздуха. Комары в последнее время быстро мутировали. Они научились летать бесшумно и по непредсказуемой траектории, как моль. Но и при своей мутации они почему-то выставленный из-под простынки его нос игнорировали. Признание его объектом, достойным внимания, наверно, откладывалось до следующего этапа мутации.

От глумливого галдежа молодого русского дурья Саня проснулся и прежде раздражения засек, что галдели у соседнего дома, а не под липами. Он встал и поглядел вниз. В темноте угадывалось семь смутных пятен. Семь жлобов в четыре часа утра упивались своей безнаказанностью. Под липами — не во сне, а на самом деле — не менее десятка добрых молодцев, до того молчавших и, вероятнее всего, кого-то слушавших, вдруг враз возмущенно загалдели, но, как по команде, смолкли. И он им за их галдеж был до сих пор благодарен — потому что до сих пор мог видеть липы и вообще до сих пор мог видеть сны. Ну, а эти семь жлобов вызвали желание взять что-нибудь легонькое типа «малая саперная» и вежливо попросить если уж не разойтись, то хотя бы примолкнуть.

Но ничего подобного Саня не сделал, а снова улегся. И проснулся он во второй раз от того, что выпал иней. Он выпал к утру, первый в эту осень, слабенький и несмелый. Чуть высветлило солнце, иней ушел, вернее, тут же улегся, но уже обильной росой. И сам он слабенький и робенький, то есть несмелый, и его любые, а не только обильные последствия обычно обходились очень дорого. Робость его обращалась безжалостностью. Он робко падал — а им приходилось сидеть и ждать. Им приходилось ждать, пока солнце съедало его без следа. Иначе он оставлял их след. А этого им — ноздрь на вывих — не надо. Им вообще было нужно пролететь птичкой, проползти муравьем, самим упасть инеем и на солнышке обратиться в облачко. Такая у них обычно была задачка — все увидеть и все отметить, а самим при этом остаться невидимкой, то есть птичкой, муравьем, облачком.

Наверно, от шороха пришедшего инея Саня снова проснулся, посмотрел за окно и, уж коли проснулся, не стерпел шагнуть в еще темную комнату и с любовью ее оглядел. Скупой обставленной и не совсем привлекательной для взыскательного или, наоборот, нечуткого глаза квартирка его была вполне замечательная или, по выражению друга Кости Кравца, отличная и, можно сказать, даже удовлетворительная. Квартирка Сане нравилась. И нравился ему последний шестнадцатый этаж с воробьиной семьей в стрехе над лоджией. В лифте, когда он нажимал кнопку своего этажа, часто удивлялись и даже, кажется, порой смотрели на него с сожалением, мол, вот невезуха человеку, ему — на шестнадцатый! А порой и спрашивали: мол, как там, на шестнадцатом, — и при этом, конечно, думали, что там плохо. Он отвечал оценкой Кости: мол, на шестнадцатом — очень даже отлично и, можно сказать, даже удовлетворительно. И ведь на самом деле на шестнадцатом было отлично, потому что никто сверху не стучал, никто сверху не заливал водой, и вообще там было тихо, как в лесу, в поле, то есть в горах, как на задаче, пока не зашумели боестолкновением. На задаче в горах известно — кто выше, тот барин. Правда, такого барства лучше было бы не знать. Лучше было бы сидеть на равнинке и контролировать ее с какой-нибудь кочки. А горное барство —

это... Да вот как сказал один служивый поэтической строкой: «Пехоту высадили на три сто, пехоте надо на четыре триста». Вот на такое барство сподобиться можно было только от тупого желания выжить, которое, кстати, не барство, а желание — тупело на каждом шаге, и грохался, бывало, такой барин в судороге, остатком глотки выталкивая из себя что-нибудь типа: «Все!.. Лучше здесь!..» — то есть барин изволил предпочесть сдохнуть на месте и тотчас же, нежели хотя бы пошевелиться.

В третий раз Саня проснулся по-барски — в семь часов. Он с привычной любовью обвел комнату взглядом, в ванной окатил себя водой едва не ледяной, побрился, поотпяхивал подбородок и повтягивал щеки, отмечая появившееся несколько «толстомордие». Потом он постоял над тазом с бельем: замочить или не замочить? И замочил. А потом сварил картошку, заправил ее брынзой, майонезом, зеленью, пряностями, посожалел, что с утра нельзя добавить чесноку, позавтракал и уселся на диван, чтобы, так сказать, в брюхе улеглось. Времени было. И он посидел просто так, попялился взором по квартирке, послушал тишину. У двери он снова оглядел квартирку, взглянул на законные Змеиные горы, разной дальностью вершин слитые в единую сине-сизую змеиную полосу.

— Ну, до вечера! — махнул он всему рукой и вдруг признался: — Сегодня у нас с Женечкой первое свидание!

На тринадцатом или двенадцатом этаже в лифт вошли двое насупленных людей — муж и жена. Он подождал, когда они поздороваются, не дождался и поздоровался сам. Они не шелохнулись. Из лифта они вышли первыми. «Явно я им испортил настроение!» — подумал он. Этак было каждый день по сто раз. Он здоровался, но ответ получал редко. С детства он усвоил, что первым здоровается младший со старшим, мужчина — с женщиной, идущий — со стоящим. И никак он не мог понять, почему на его приветствие неприязненно молчало даже большинство соседей. И каждый раз он на секунду раздражался.

Цветы у подъезда молодцевато тарачились на солнце. Им, наверно, казалось, что иней — совершеннейший пустяк и стоит только пере-

терпеть ночь да дожждаться солнца. Он на миг, по логической связи от инея к следам, вспомнил липы и в который раз за утро подумал: «Или мы прохлопали их охранение и нам дико повезло, или их охранение прохлопало нас и нам опять дико повезло, а ведь меня, дурака, ну прямо потащило под эти липы!»

— Вот и вы, — сказал он цветам, — этак же прохлопаете! — а что прохлопают цветы, он не сказал, так как и без того было понятно, что они прохлопают заморозки, хотя по отношению к цветам такое обвинение было несправедливым, ибо хлопай цветы, не хлопай, а заморозки все равно придут.

Так язычески разговаривать со всем, что ни встретится, он тоже научился с детства. И будто эти разговоры ему помогали. Будто при этих разговорах ему что-то приходило такое, что не пришло бы, если бы он не разговаривал, будто то, с чем он разговаривал, если уж не открывало ему тайну, то хотя бы предупреждало, и ему оставалось только вчувствоваться в эти предупреждения. На самом деле, конечно, ничего такого не было. Однако все равно было приятно думать, что такое было.

2

До офиса на Пушкинской ходьбы было час десять. Транспорт, если без задержек, обходилось в полчаса. А с небольшими задержками, когда какой-нибудь... (Тут Саня обычно употреблял не совсем печатные эпитеты.) ...Когда какой-нибудь, мягко выражаясь, эгоистически настроенный водитель вставал поперек трамвайных путей с надеждой втюриться во встречный поток и его приходилось пережидать, тогда хорошо было, если укладывались в сорок минут. Не совсем печатные эпитеты вполне имели место быть и даже могли обращаться в совсем не печатные, когда этот эгоистически настроенный водитель вставал на трамвайные пути так ловко, что перекрывал или донельзя суживал проезд другим водителям. И, объезжая его, другой водитель, не обязательно эгоистически настроенный, вдруг застревал тоже как-то так ловко, что загоразживал остаток проезжей части. А около

пристраивался третий, пятый, десятый. А там какая-нибудь длинномерная фура вдруг из-за этого перегоразживала вообще весь перекресток, а там перед ней застревал встречный трамвай, за ним выстраивался следующий — и начиналось. На дороге все прекращалось, а в трамвае начиналось. В трамвае тотчас начинались звонки с мобильных телефонов, и летели во все концы штампованные извещения: «Я в пробке, застрял в пробке, тут пробка... Таня, подстрахуй... Маня, подожди... Вася, удержи, неизвестно когда буду, тут такая пробка!..» Конечно, его все это раздражало. Но он терпеливо сносил. Только про себя говорил:

— Ну почему из-за одной сволоты должны страдать сотни людей! Да издать закон, по которому трамвай имел бы право таранить на трамвайных рельсах любую машину этак слегка. Протаранил слегка одного, протаранил второго — и никто больше трамвайных путей не коснулся бы. Ведь все так просто! И не будут сто человек страдать из-за одной, мягко говоря, сволоты.

Саня бы ходил пешком. Ходить ему было более чем привычно. И эти час десять его бы только бодрили. Но уже стала поселяться в нем какая-то инерция гражданской жизни, какая-то «городскость», «урбанистость», этакая вальяжность, когда вдруг привычнее стало полезть в транспорт и стоять, париться в этих самых пробках. Хотя термин «париться» к поре отправления его на службу никак не подходил. Его остановка была первой после конечной. И приходил он на нее, когда, так сказать, рабочий люд уже схлынул. Трамваи приходили практически пустые.

Сегодня вместе с ним в вагон вошли три иногородние девчонки лет по семнадцать и уселись втроем на сдвоенное сиденье. Их возраст и иногородность он определил по первому же вопросу кондуктору. Они спросили, доедут ли до политехнического института, то есть ныне — университета. А это означало, что они иногородние и только-только поступили учиться.

Сидеть втроем им оказалось неловко, и одна встала. Была она совсем маленького росточка, чернявенькая, круглолице-узкоглазенькая, толстоватенькая и криво-коротконогая. Саня скользяще, сверху вниз, от лица к грудям, от

них — к талии и от нее к ногам, как это обычно делают мужчины, оглядел ее и даже засмурел. «Ну вот как она выйдет замуж! Влюбится и будет страдать. А замуж не выйдет!» — в своей смуре подумал он. Она тоже посмотрела на него и тоже скользяще, но не так, как он, а скользяще мимоходом, без какого-либо интереса, статистически, отмечая лишь то, что вот-де сзади сидит старый дурак и не уступит женские место. Старым дураком мужчины в сорок лет не становятся даже для семнадцатилетних. Но он почему-то прочел в ее «статистическом» взгляде именно это. Хотя, если она взглядом что-то говорила, значит, взгляд был далеко не статистическим и Саня, выходит, ошибался.

— Короче, — отвернулась к подружкам чернявочка (или как ее назвать для образности?), — короче, я в магазин пришла, заняла очередь и побежала в другой. Сюда прихожу такая, встаю, а меня какая-то телка не пускает: ты чо наглая такая? — Я говорю: «Я занимала!» Она не пускает. Я ей локтем дала и встала.

«Попранная справедливость была восстановлена!» — с улыбкой сказал себе Саня в полной уверенности, что ничуть не стало с восстановлением справедливости, иначе незачем было бы вообще начинать рассказ, который вот так бы закончился.

— И чо? — спросили подружки.

— А ничо, — сказала чернявочка и смолкла.

«Неправда», — отметил Саня насчет отсутствия продолжения.

— Ничо, — сказала Чернявочка. — Она такая: ты, типа, чо, где родилась, что у тебя такие манеры? — А я ей: там! — чернявочка вместо этого мало что-либо определяющего местоимения назвала арьергардную, часто бывающую изящной и привлекающей мужской взгляд часть женского тела.

— Да ты чо, Райка! — чувствуя позади себя Саню, то есть, по их предположению, сорокалетнего дурака, смутились подружки.

— А чо, там, говорю! — снова назвала чернявочка тот женский арьергард, который, кстати, у нее самой был далек от изящности и привлечения мужских взглядов.

— А она? — хоть и смутились, но не смогли удержать любопытства подружки.

— А она: «Оно и видно», — говорит. — А я, та-

кая: «А ты чо, думаешь, ты в ... родилась?»

«Оп!» — сказал Саня и вдруг заменил название того места, которое чернявочка определила своей неожиданной сопернице для рождения и которое, собственно, для этого и являлось единственно предназначенным местом, на полинезийское слово «аа», услышанное от эрудита товарища Че, прапорщика Суркова. И у Сани слова чернявочки вышли так: «Ты думаешь, ты в «аа» родилась? А вот ...» — и опять для обозначения той части мужского тела, которая совокупно с вышеназванной частью женского тела тоже имеет отношение к рождению детей хотя бы на первоначальном этапе, Саня употребил полинезийское слово «уу», отчего слова чернявочки у Сани вышли так: «А вот «уу» тебе! Ты вообще выкидыш! Тебя вообще в ... нашли!» — сказала чернявочка и, конечно, назвала не то место, где обычно появлялись на свет дети, то есть назвала она не капусту в огороде и не аиста в небе, а назвала она продукт, исторгаемый арьергардной и в данной ситуации не обязательно изящной частью тела, в разных слоях общества именуемый поразному — кто-то называет его стулом, кто-то продуктом пищеварения, кто-то шлаковым продуктом, а кто-то вот так, как чернявочка.

— Ой, Райка! — сказали подружки.

И он тоже сказал: «Ой, Райка, молодец!»

— А чо? — сказала чернявочка. — Одна телка стала звонить моему парню. Прикиньте. Я, такая: типа, ты чо, оборзела? — Она: а чо, он твой, что ли? — Я: мой, и отвали, а то тебе ууево будет! — и опять чернявочка сказала не полинезийское, а довольно русское слово, в иносказании обозначающее плохие последствия.

— И чо? — опять спросили подружки.

— Ай-да. Потом я ей зубы выбила и башку разбила, — сказала чернявочка.

— Да ты чо, Райка! — на миг ужаснулись подружки, а он сказал: «Наш кадр!»

— Она сама с бутылкой полезла на меня, — сказала чернявочка. — Я бутылку отобрала и говорю: не умеешь ни ... — ну, то есть «ни уу», — не умеешь ни «уу», дак я тебя научу! — этой же бутылкой ей по зубам дала, а потом по башке!

«Вот так молодец!» — опять мысленно сказал Саня и подумал, что ни он сам, ни кто-либо другой ни за что не оборвет чернявочку, не

пристыдит, не оттреплет за ухо, что никто никогда не даст отпора русскому молодому дурью и русской пьяни.

3

А когда вышли с задачи, — это Саня вспомнил после замечания насчет дурья и пьяни, — когда вышли и он повел группу косым и пьяным от усталости, но все же строем, сам — замыкающим, неожиданно на лесном подъеме из оврага ткнулись носом в генеральские лампы. Саня только-только поднял глаза от носков сапог к голове колонны и хотел снова упереться глазами, как клюкой, себе под ноги. А нет! Глаза уперлись в генерала и торчащую за ним из мотора «узика» солдатскую задницу. Саня задницу проигнорировал, а к генералу глазами прямо прилип. И ему подумалось сначала, не уснул ли он, потому что такую картинку, какую он увидел, наяву никогда не увидишь, а если увидишь, то перекрестишься. Ведь они вот-вот вышли с задачи. Да нет, не это!.. Они тащились, а вернее, каждый на трех точках мотался по грязной лесной овражине среди цепких и сверху нависающих здешних бесконечных кустов, обрыдлых своей непроницаемостью до желанья выжечь их «шмелями» или, по крайней мере, при невозможности выжечь, смачно харкнуть в них — и потому именно смачно, что рот в отсутствие слюны расперло железобетонным коробом, а в башке раскорячилось видение всего, что имело отношение к влаге — даже этот смачный харчок. Они тащились, уже потеряв от усталости всякую осторожность, прикрываясь только одним понятием, что они где-то в расположении своих, совсем, кстати, в этом не уверенные, но уже махнувшие на все рукой. И вдруг среди оврага, на подъеме, по какой-то причине, ну просто галлюцинацией всторчал генерал при полном параде, то есть при лампах, кителе и фуражке с кокардой. И пока Саня смыкал и размыкал веки, силясь определить, не сон ли, не мерещится ли, пока он тягуче ворочал в мозгу, что это действительно и не сон, и не генерал, а обыкновенная подстава, то есть засада, пока он разевал скоробившуюся свою

пасть, чтобы крикнуть шедшему впереди колонны Грише о засаде, Гриша поравнялся с генералом, приостановился, будто лишь запнулся, и пошел дальше.

— А-э! — начал было Саня кричать Грише.

Но именно это же он услышал от генерала:

— А-э... Э... боец! — окликнул Гришу генерал.

Гриша лишь дернул задом, удобнее пристроил заплечный мешок и оружие. Но Сане показалось, что Гриша задом дернул глумливо и обмер — вдолбленную субординацию никуда не выкинешь. Но обмер он так устало, так равнодушно и немощно, что и сам почувствовал ложь своего испуга. Догадка о засаде от дерганья Гриши стерлась сама собой, и на ее место вновь угнездились осоловелое, старолошадное равнодушие: усталая лошадь легла в борозду, и ты над ней не ахай... — бородатый армейский фольклор с некоторым продолжением, на которое уже сил не было. И он подумал, смыкая веки, что генерал ему примерещился.

У генерала же, видно, шок от Гриши прошел быстрее, чем у Сани от самого генерала.

— Боец, ты кто, какой части? — услышал он генерала и снова поднял глаза.

Генерал хотя и растерянно, но уже навис своей громадной фуражкой над Добрей — сержантом Добрыниным. Но того мешок потащил в сторону, и Добря миновал генерала.

— Стоять! — было крикнул генерал, но вдруг схватил за рукав следующего за Добрей снайпера Шурупа. — Боец!

Шуруп кое-как поднял голову, вывернул рукав и прошел мимо. Генерал явно покрылся испариной, если и без того не потел в своих лампах и кокарде на разгорающемся солнце. «Что-то здесь не так!» — наверняка забулькало у генерала. Хоть тот же армейский фольклор указывает разницу между лейтенантом и генералом — лейтенант долго достает, а генерал долго ищет — но ведь нельзя полностью отрицать, что у генералов вообще в связи с этой вводной ничего не было. Ведь долго ищет — это, значит, есть что искать, или, по крайней мере, он на это надеется. И Саня даже в своей непреходящей лошадиной дреме на ходу увидел: генерал впал в давно не посещавшее его недоумение. Он даже наверняка покрылся испариной. «Ищет!» — только и определил за генерала Саня, а чего

ищет, того у Сани в голове, в его единственной на этот час извилине, уже не уложилось.

А генерал хватил шедшего за Шурупом товарища Че — прапора Чеку. Как-то всегда так получалось, что Чека находился не на своем месте. Не в том плане находился он не на месте, что не на месте. Как раз в этом плане Чека фору давал пятерым матерым бандерлогам с офицерскими погонами и всегда находился на месте. А не на месте он был в том плане, что... — одним словом, хорошо, что он был прапором и карьеру ему не надо было делать. В общем, прапор Чека шел четвертым, и генерал вцепился в него.

— Боец, я спрашиваю, какой ты части! — кажись, даже взвизгнул генерал.

Чека понуро сделал шаг в сторону, обогнул генерала и снова встал в колонну.

— Мужик, иди ты на..., а! Ну что ты пристал! — услышал Саня в густой и пряной духоте оврага ровный и немного просящий голос Чеки, называющий генералу не зашифрованный под Полинезию, а прямой русский адрес.

4

В это время приспела остановка «Профессорская» — не в овраге, разумеется. Девчонки суетливо потащились за чернявочкой к двери.

Он посмотрел на всех троих сверху — пехоте на этот раз хватило три сто! — увидел, как обе девчонки мышками суетились в старании поспеть за чернявочкой. Она же легко буравила толпу, и черная, с густым жестким волосом ее голова будто служила ей тараном. «А ведь выйдет замуж!» — подумал он и еще подумал, что, пожалуй, муж будет у нее под пятой и будет «подпяточностью» доволен.

На углу Гагарина трамвай немного поперепахивался в пробке. Саня снова подумал о своем законе слегка таранить автомобили на трамвайных путях. Пока поперепахивались и дергались, по сантиметру завоевывая рельс, позвонил друг Костя, попросил купить «Областную газету» — что-то там его заинтересовало, а купить было не с руки.

— Куплю, если хотя бы к вечеру доеду до службы! — сказал Саня.

Но, на удивление, он доехал до своей остановки быстро и едва ли не в досаде буркнул:

— Ну, не к добру!

Тротуар около здания бывшего «Облэнерг», а теперь даже некоего вертепа различных контор, конторок и «подконторниц», как всегда, был перегорожен. «Перманентно перегорожен!» — отметил Саня любимым словом товарища Троцкого. «Лозунг перманентной революции не должен сходить со злобы дня!» — нечто к такому, по крайней мере, по словам ученого Чеки, призывал товарищ Троцкий, то есть призывал революцию творить беспрестанно. Так же перманентно, будто польский легионер, тротуар был опоясан бело-красной лентой. Перманентно на фасаде несчастного здания что-то перекраивали, перекрашивали, перевешивали, перебивали, переносили, перевыламывали и перезаделывали. Постоянно поперек тротуара и враскоряк стоял автокран или елозила по фасаду автовышка с корзиной, в которой, будто агэс, автоматический гранатомет, долбил отбойный молоток, а с земли на корзину задирали головы штук пять руководящих работников в галстуках и штук пять рабочих в касках и униформах с лейблами своей фирмы. Они совсем не смотрели ни на кого вокруг — только вверх. Их старались обойти. Но в оставленном проходе этого сделать было невозможно. На них натывались. Их толкали. Им высказывали. Но они ни на кого не обращали внимания. Они смотрели вверх. И в целом было непонятно — зачем они здесь и зачем они смотрят вверх. И было непонятно, что именно там менялось, что и кого там не устраивало. С тротуара этого не было видно. Не было этого видно и с проезжей части проспекта, и с противоположной его стороны, так как кренистые рослые липы закрывали здание до четвертого этажа.

5

А они тогда не удержались. Это непрофессионально. За это с должности снимают. Но они не удержались и на обратном пути в той купе лип поставили три растяжки. Так молча кого-то слушать и так скрытно вести себя, что Са-

ня едва не выперся к этим липам, а потом вдруг возмущенно и враз загадеть и тут же, как по команде, смолкнуть — так сможет только воинское формирование. И на обратном пути Чека не удержался — поставил там три растяжки. Обратно возвращаться пришлось тем же местом не по своей воле. Это простилось. А про растяжки он не стал докладывать. Не такая уж сугубая организация у нохчей, чтобы после подрыва на тех растяжках вдруг спетрить, что была тут группа глубокой разведки и теперь все надо передвигать, перепрятывать, переиначивать. Если и подорвались, то наверняка свалили на кого-нибудь из своих же, да еще устроили разборку, да еще маленько постреляли друг в друга, да еще до десятого колена затаили друг на друга злобень. Чека — умный!

Около красно-белой ленты в толчее и около этих, с задранными башками в касках и галстуках, Саня вспомнил, что обещал Косте купить «Областную», и пошел на почтамт. В вестибюле почтамта полненькая светленькая газетчица ему улыбнулась. «В меру полненькая!» — подумал он и тоже улыбнулся.

— Вот посмотрите, сколько у меня газет, и все свежие, и все интересные! — сказала она.

— Интересные, как вы? — отважился он на легкую пошлость.

— Во много раз интереснее! — сказала она.

А он почувствовал, что пошлость прошла, то есть комплимент газетчицей был принят. Ну, да и пошлость ведь была все-таки легкой.

Он взял два экземпляра, еще раз улыбнулся, вышел на крыльцо и только тогда посмотрел на дату, да и то случайно.

— Э! Барышня! А ведь!.. — поспешил он к газетчице.

— Что? — во внимании свела она светленькие свои бровки к переносью.

— Да ведь вот! — показал он на дату каких-то едва не весенних пор.

— Ах! — вскинула бровки и округлила глазки светленькая газетчица, посмотрела остальные номера газеты и еще более вскинула бровки: — Ах! — и даже во что-то вроде испуга впала, и даже в этом испуге взглянула на него, дескать, что же он о ней подумает! «Ах, мошенница! —

подумает. — А еще такая светленькая и полненькая — в меру!» — подумает.

Он это в ней увидел, про себя заулыбался и вспомнил чернявочку, ее, так сказать, безусловный и незлобивый рассказ. И он снова вспомнил Чеку, вспомнил его ровный и немного просящий тон: «Мужик... иди ты на... а! Ну чо ты пристал!» — Потом, когда ржали, когда нашли сил ржать, Чека, прапор Чека, товарищ Че, божьей милостью бандерлог, но умны-ы-ый, не веря ржачке, спросил:

— А чо, правда, что ли, был генерал?

— Да ты чо, товарищ Че, совсем, что ли, спал по дороге? — едва не в голос спросили его.

— Ни хрена себе! Я думал, засада. А воевать уже нет сил! Ну и послал его. Все равно ведь было подыхать! — признался Чека.

И пока светленькая с испуганными бровками газетчица, оставив его караулить товар, побежала выяснять, каким макаром ей подсунули газеты времен едва не царя-батюшки, подошла или, вернее, «при-ко-ма-на-ла» (кажется, так у них, у англосаксоподражателей) — прикоманала всхолённая гёлз с, как ей самой казалось, иностранным взглядом, в котором если что-то и должно было быть прочитываемо, то только название фирмы, которой она служила.

— Мужчина! — строго, как ей казалось, но на самом деле с какой-то претензией раскрыла она якобы фирменные губы.

Саня усмехнулся, правда, про себя.

— Мужчина! — снова сказала она, предположив, что он не услышал. — Мужчина, не могли бы вы за подарок ответить на несколько вопросов?

— Нет, не мог бы, — сказал он.

— Это за подарок. Всего десять минут, и вашей жене будет подарок! — сказала она.

— Да вот я караулю! — попытался он отвязаться.

— Я подожду, — сказала она.

И действительно она осталась ждать. Она чуть отошла в сторону и бесстрастно стала смотреть только в одну точку, явно видя себя со стороны принадлежащей только фирме. И потом она привела его в кабинет здесь же, на почтамте, усадила напротив и с фирменной бесстрастностью стала ему задавать вопросы о

каких-то иностранных карамельках, которые он отродясь не брал в рот, да, собственно, и не собирався в свой мужичьи сорок лет брать.

— Вы употребляете вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр фак ю»? — спросила она и показала ему упаковку.

— Нет! — сказал он.

— А хотели бы вы употреблять вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр ю фак»? — она снова показала упаковку и далее, совсем не обращая внимания на его постоянные отрицательные ответы, спрашивала его таким же, как и у чернявочки, нерусским языком, нерусскими агрессивными предложениями уже без знаков вопроса, уже не в качестве предложения — в смысле «предлагать», а в качестве жесткого утверждения.

— Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Тыр-быр куда-то там гоу» целую упаковку! — говорила она за него.

— Нет! — говорил он.

— Я бы съел вкусные и сочные конфеты фирмы «Быр-тыр гоу куда-то там» целую упаковку! — говорила она название следующей фирмы.

— Нет! — говорил он.

— Я бы съел... — как пресс, давила она.

— Я бы вообще ничего никогда не съел! — не выдержал он и прибавил, что не стал бы есть именно с этой минуты.

Она на него не взглянула. Она снова сделала пометки в своих опросных листах и перешла к другому утверждению, на которое он так же отвечал словом «нет» и по окончании опроса не сдержался спросить:

— А что, девушка, как-то по-русски эти вопросы нельзя было построить?

Спросил в пустоту и пошел, не взяв подарка. Она вскричала ему вслед: «Мужчина! Возьмите подарок!» — он же только отмахнулся, и хорошо что не сказал того, что сказал Чека генералу. А потом вдруг ее пожалел: может быть, она простая русская девушка, смешливая и кокетливая, а поступила в эту вкусную и сочную фирму работать — и была вынуждена ломать себя.

Перспект в этой части был широк, а светофор на зеленый свет скуп. Пешеходные народы по этому обстоятельству вели себя, будто новобранцы первый раз в поле. Бежали они через проспект беспорядочно, рвано, мешая друг другу, в лихорадке — не успеть. Водители пешеходной зоны не видели, ломили через зебру с удвоенным удовольствием. Это тем более сбивало пешие народы в кучу, то есть еще более мешало. «Бараны! Держитесь правой стороны! Вот так же вы себя ведете за рулем!» — думал Саня, и ему свербило умотать в лес, в поле, то есть в горы, на задачу, где, как говорил Костя, любая улица в два конца — твоя. «Если даже на ней дорожные знаки расставляют воины ислама!» — прибавлял Саня.

Вместо гор и задачи, однако, он перешел от почтамта на свою сторону. Народу улица Пушкинская против других улиц содержала заметно меньше, как бы располагалась не в центре города, а на сельской окраине. Только около фруктового киоска с выставленными прямо на тротуар картонными коробками с яблоками кучкой, или, сказать, купой, стояли несколько женщин из соседних контор. И вдали, около бывшего дома профсоюзов, черными сожженными бэтээрами громоздились на тротуаре чьи-то шибко крутые авто. Проезжая часть улицы была забита транспортом. Где-то поставить машину, или, по-нынешнему, припарковаться, было просто невозможно. И в бакшише был тот, кто приезжал с утра пораньше. Так сказать, кто первым сел, тот все и съел. И, помнится, одно время улицу взяли пасти ушлые ребята — то есть взяли за стоянку брать деньги. И, помнится, он однажды попал к ним под раздачу. Бригада только что перебралась из ныне суверенной республики сюда и обустроивалась. Он приехал по делам в местный штаб ведомства товарища Шойгу, которое располагалось на этой же улице. Кое-как он пристроил свой армейский «уазик» сбоку припекой и подался к дверям штаба. Но вынырнули двое в штатском — шутка! — вынырнули двое людишек, как и положено, такой категории или изображающих такую категорию, ссугорбленных и бритых, но уже не си-

них, хотя еще и не совсем накаченных, без складок на затылках и пока еще без дорогих перстней.

— Летёха, ты, это, в натуре, не торопись! — как бы даже вежливо и устало, вот от таких непонятливых, как Саня, приехавших и куда-то, задрав рыло, побежавших, устало, в нос и вращаясь сказал один.

— Короче, за постой платить надо, командир! — сказал второй.

А с каких барышей он, офицер Красной армии, как они то ли в ностальгию, то ли в издевательство над собой любили называть себя, — с каких таких правительственных щедрот он будет платить, когда не то что не получали, а даже запах денежного довольствия забыли.

— Короче, — сказал он им как можно приятельски. — Короче, я готов взять у вас любую сумму!

— Тебе чо, колеса лишние, командир? — спросил второй.

Было очевидным — оба не служили, оба сидели. И оба его форму воспринимали формой вертухая, или как они там называли служащих работающего с ними ведомства. А у него вот этакий с самого его лейтенантства, то есть с того самого летехи, стали вызывать не столько злобень — что уж там со злобенью, шибко мелко! — у него этакий стали вызывать жуткий внутренний холод. Злобень с некоторой поры стали вызывать вообще пиджаки, все эти гражданские, разболтанные, говорливые, вертко-скользкие, умные и одновременно анемичные, одышливые и трусливые, но снисходительные к ним, к армейским, как к недоумкам. Все, что оказалось за зеленым забором, все эти пиджаки, своей беспорядочностью и непорядочностью у него стали вызывать злобень. А такие, а этакий — они вызывали уже не злобень. Они вызывали жуткий холод, ну прямо лед они вызывали где-то в брюхе. Враз у него там смерзлось.

Между машин было не очень удобно. Но он въехал первому, ближе стоящему, сапогом в колено — пах пожалел, все-таки не совсем, видно, смерзлось брюхо, — въехал сапогом ровнехонько в колено и торцом ладони — в переносье. А второго, взявшего с места аллюром, он достал через несколько шагов, приволок

обратно, подбил сзади ему ноги, положил рядом с его, так сказать, товарищем и прошипел:

— Убью!.. Обоим сидеть здесь и ждать меня!.. «Узником» по тротуару размажу!.. Поняли, суцата?

Логика в его шипении было хрен да маленько, ибо где же он их достал бы, если бы они сбежали. И что бы он стал делать, если бы они привели сюда свою бандитню или бы, того хуже, проткнули бы колеса, а потом убежали? Хотя первый визжал с проломленным коленом — и уползти-то не мог, а только гнал визгом прохожих на противоположную сторону улицы. Но все же логики в его шипении не было. И логика здесь не была нужна. Логика — это у пиджаков, в их словосотрясениях, в презрении ко всем, кроме себя, в неприятии всего, что не касается лично их, — их спокойствия и благополучия, собственного, личного благополучия, не распространяющегося даже на их родителей, жен, детей. Так он считал тогда и всю логику мнил за пиджаками. А в такой ситуации, которая вышла у него с этим вшивьем, логики не было надо. Их надо было просто давить. И он легонько долбанул в нос второго:

— Ты понял? Ждать меня здесь!

— Понял! — захлебываясь кровью, сказал второй.

— И этому утри сопли! — приказал он.

— Понял, — сказал второй.

— Гранату без чеки в руку дать? Держать до моего прихода будешь? — спросил он, хотя гранаты у него не было.

— Нет, — сказал второй.

— Будешь ждать без гранаты? — спросил он.

— Буду, — сказал второй.

— «Скорую» вызовите! — провизжал первый.

— Вызову, — пообещал он.

Никакую «скорую» он не вызвал и не подумал вызвать, а когда вернулся к «узику», подле уже никого не было.

И потом была у него на этой улице еще история, как бы отличная от первой, но в чем-то ей сродни. Костя нашел ему представительство одной московской фирмы, и он заступил в должность, то есть сел в мягкое вертлявое кресло в большой комнате отданного ему в распоряжение офиса — сел в привычной увереннос-

ти, что сотня, как в бригаде, обязанностей сорвет его с кресла и он никогда более не коснется своей тыльной частью его хрустко скрипящего, но и якобы все понимающего и все принимающего, то есть, получалось, беспринципного устройства. Он и к креслу тоже отнесся с разговором, как отнесся утром к квартире и к цветам около подъезда, как и вообще ко всему. И повинуясь ему эта кресловая, черная, ласкающая беспринципность. Но наученный в службе служить, он не поверил в свое пребывание в этом кресле и ждал, что новая служба сорвет его с этой задачей.

Из всех посетителей в первый день он принял только зеленую муху. Она залетела из холла, когда он вышел размять ноги, и прижилась, не особо-то ему мешая. На второй день он в полной тишине стал вспоминать, нет, не то чтобы стал вспоминать. На второй день воспоминания пришли сами. Он счел абсолютно неуместным служебное время, которое ему, кстати, и, в отличие от армейского, хорошо оплатили авансом, использовать в личных целях, то есть предаваться воспоминаниям. Но они полезли. И на третий день, весь изнервничавшийся от своего служебного несоответствия, он позвонил в фирму и доложил, что ничего не делает и даже по отсутствию задачи и в опаске что-нибудь сделать не так никаких самостоятельных действий не предпринимает, да и представить не может, что именно предпринять.

— Вы на работе, Александр Михайлович? — спросила фирма.

А он посчитал ложью сказать, что он на работе, потому что никак не мог признать работой полезные воспоминания и сожительство с зеленой мухой.

— Но вы на рабочем месте, вы в офисе? — переспросила фирма.

— Я в офисе! — подтвердил он.

— Ну так, значит, все путем. Чего вы волнуетесь! Главное, вы на рабочем месте. Как у вас там раньше по службе было, в схроне, что ли. Займите себя чем-нибудь, ну вот хотя бы составьте характеристики стрелкового оружия.

— От первых пищалей или от арбалетов? — начал уточнять он, да вдруг догадался, что задачу ему ставят от чирья, так сказать, в снис-

хождении, в начальнической сообразилке о том, что у отставного Аники в одном месте взбуч этот чирей и сидеть Аника не может.

Он догадался и было вспыхнул, но быстрее, чем вспыхнул, почуял, что других задач не будет и он посажен сюда в качестве отвлекающего предмета, в качестве кота в засаде Чеки — о коте и Чеке как-нибудь потом — а в тот миг он это почуял и сказал себе: «Значит, «Рога и копыта», а я Фунт!» — И он бы оставил эту фирму с ее единственным посетителем зеленой мухой, оставил бы тотчас после этого разговора, но не успел он дослушать остальной начальнический треп, как пришел Костя.

— Ты точно контуженый, Саня! У тебя времени х**ова туча! Ты радуйся, что ничего не требуют! Сиди и пиши мемуары! Усталая лошадь легла в борозду, ты над ней не ахай, есть двадцать — посылай всех в узду, есть двадцать пять — на сук! — сказал Костя армейским фольклором и, как сегодня чернявочка, адрес назвал без шифра, открытым текстом.

А он надул щеки и набылчился. Невозможно было ему, матерому бандерлогу, имеющему очень не последний номер в списках нохчей по оплате его головы, понять маленькой истины, с какого такого бугра его посадили на место, в лучшем случае предназначенного для какой-нибудь фифочки.

— Я, Костя, ничего не пойму! — сказал он.

Он действительно не мог понять своего положения. Он мог его понять только так, что его положение старого матерого бандерлога здесь, в пиджачном мире, ноздрь навыворот, никому не было нужно, что его вернули к самому началу, как будто он только что окончил школу и вполне мог принять за счастье любое фифочкино положение. Об этой фифочкиной службе, или, как фифочки ее называли, работе, он был наслышан и всегда изумлялся полному несоответствию того, чем фифочки занимались, с тем, как это они называли. В его восприятии работа предусматривала физическое усилие, а служба предусматривала усилие характера и души, чего в нынешнем пребывании фифочек в офисах, как, наверно, и самих боссов, обыкновенно не велось и не предусматривалось уставами этих офисов и фирм. Он был наслышан о, так сказать, фифочкиных службах и, так ска-

зять, фифочкиных работах. Какова она была, эта служба или эта работа, на самом деле, он не знал, но в словах тех его товарищей, таких же бандерлогов, кто о них говорил, служба и работа фифочек заключалась в умении быть под столом и шевелить губками — и не ботфорты целовать, как нам досталось знать о временах каких-нибудь Аракчеевых и Бенкендорфов, а шевелить губками чуть выше ботфуртов. У него не хватило сил поверить в это. Он не верил в это. Но знание об этой стороне фифочкиных служб и работ как бы подтверждали многочисленные «лексусы» и «БМВ», оседланные этими фифочками. Разумеется, это были далеко не «лексусы» и «БМВ», а были авто гораздо пожиже «лексусов» и «БМВ», но он как-то раз окрестил их именно этими марками и потом не затруднялся по-другому называть. И, глядя на них из трамвая, он отмечал какую-то всех фифочек абсолютную отстраненность, будто они не торчали в пробках и будто их нигде не ждали, будто они ехали только по своей воле, будто они не были вообще никому нужны, будто от них ничто не зависело, и не зависело только потому, что они были выше всякой связи с кем бы то ни было. Они равнодушно снимали рычаг скоростей с нейтралки, если в их «лексусах» и «БМВ» эта операция еще предусматривалась, равнодушно несильным толчком проезжали метр расстояния, опять останавливались и кукольно-целлулоидно застывали. Ему в этот миг хотелось отметить, что они застывали чугунно. Но их равнодушие, их холодность и их как бы отсутствие в этих самых «лексусах» и «БМВ» его переламявали. Ему становилось жалко чугуна, только что кипевшего и застывшего. Он находил, что с них хватало и целлулоида. На какие средства были приобретены эти «лексусы» и «БМВ», он не гадал, потому что приходило сразу и приходило первое — за умение работать под столом.

Вот так он принял попервоначально свое положение. И Костя ему сказал, что он точно контуженый.

— Тебе какое дело, Саня! Тебе какое дело, бандерлог ты мой недобандерложенный! — навис над ним Костя. — Твоими именами надо улицы называть. Смотри как звучит: улица Михайлова-Бандерлога!.. А? — Скажите, —

это, например, какая-нибудь бабушка к тебе обращается. — Костя, конечно, вместо слова «бабушка» сказал слово, начинающееся с этой же буквы, но гораздо более короткое, гораздо более односложное и даже совсем односложное слово. — Скажите, молодой человек, как проехать на улицу Михайлова-Бандерлога! — А? Звучит?.. А ты ей, как поручик Ржевский, сразу же: — А не исполнить ли нам... — Костя опять вместо слов «не исполнить ли» сказал определяющее слово из лексикона поручика Ржевского. — А? Саня! Звучит? — И совсем утверждающе прибавил: — Звучит! Вот так-то, друг мой! Это моим именем улицу никогда не назовут. Разве что переулок какой-нибудь. А то вообще — тупик! Тупик имени Кости Кравца. Вот так, не Кравца, а Кравца! А? Ничо?

— Ничо, — квакнул он, но щеки надувать не перестал.

Никак в него не входило то, что его, матерого бандерлога, ну, и, если уж официально, его, командира батальона и орденосца майора Михайлова, посадили на место фифочки, которой самый раз здесь сидеть и от нечего делать — шефа ведь нет, чтобы нырять к нему под стол! — сидеть да бровки выщипывать.

— И не только бровки, а еще и лобок! — прибавил Костя.

Костя не был ни матерщинником, ни циником. А казарму на себя он напускал по обыкновенному мальчишеству, в котором остался, несмотря на Афган, полковничье звание и степень доктора наук.

Так вот, пока Саня надувался, подкатила подлинная фифа с уже пощипанными бровками и величиной с нынешнюю чернявочку, только против нее шибко тощая — с ударением на «а» — тощая, узкоротая и колченогая. Чернявочка была кривоногинья, а эта — колченогая, то есть как бы насчет ножек чернявочки похуже. Женщин он за всю свою жизнь в лесах и полях, то есть горах, и на задаче перевидал столько, что умещались они в то самое определение «хрен да маленько». Но даже при всем при этом подкатившая фифа была нихт, то есть найн, то есть вообще Гитлер капут. Тощая, колченогая, без той тыльной части, при взгляде на которую у мужчин вдруг возникает не только эстетический интерес, вот такая, от

плеч до колен без каких-либо всхолмлений, узкоротенькая и с выщипанными бровками подкатила к нему фифа. Увидев ее, он привычно заперезживал, привычно заболел душой, как ложно заперезживал нынче за чернявочку, мол, замуж не выйдет. И потом он долго переживал другое. Потом он переживал долго свое неумение видеть людей. Это стало ему новым. Оказывалось, видеть людей под формой одно, а видеть людей под фирмой — другое. Этак он опять съерничал. Но выходило, под фирмой, то есть в обычной пиджаковой жизни, видеть людей было делом намного более сложным.

Хотя, бывало, и там по какой-то своей выпендренности он не мог увидеть человека. В Ботлихе, в августе девяносто девятого, он заглянул к своему знакомому начпроду. Рота не жрала второй день. Не кормили, потому что рота еще числилась на махачкалинском аэродроме. И он пошел к знакомому начпроду. В палатке у начпрода сидели мужики и глушили водку. Начпрод сунул ему полкружки:

— Пей, Саня!

А ему стало тошно. В километре вертушки таскали шеренгами на Абдал Забазуль солдатиков и шеренгами снимали оттуда двухсотых — причем беспрерывно: туда и оттуда, туда и оттуда. Говорили, руководил операцией какой-то эмчэсовский генерал, возглавлявший Звезду Героя на грудь и гнавший солдатиков на Абдал в лоб. В километре была самая настоящая бойня. А здесь будто не было войны. Здесь бухали и травили анекдоты.

— Да пей, Саня, не грузись! — сказал начпрод.

Он хряпнул и ушел. И отчего-то он запомнил одного капитана. Распоясанный, расхристаный, какой-то изверченно-искрученный, с бабским, без щетины, и испитым лицом был капитан, был, сидел в палатке начпрода, жрал водку и хрустел маринованными огурцами. «Вот же скот!» — сматерился он на капитана. А через день начпрод его поймал и сказал, что капитан... — «Помнишь капитана? У меня был, когда ты приходил», — этот капитан сгорел в бэ-тээре, до последнего прикрывал своих ребяток.

Вот так прибежала фифочка, брызнула ему слезами:

— Только вы можете меня выручить! Меня только что из офиса в доме напротив выселил

хозяин! Нам некуда деваться! Хоть на два-три дня, пожалуйста, пустите! А то все наши бумаги, вся наша оргтехника просто лежит на тротуаре!

Саня сам перенес ее скорбь, то есть бумаги и компьютеры, и был собой доволен, был доволен тем, что хоть на этот раз сумел увидеть человека. Правда, зеленая муха тут же куда-то слиняла. До того она три дня упорно билась рядом с открытой форточкой, а тут быстро сообразила. «Вот же, едрена мать!» — сказал он ей вдогонку, то есть не вдогонку, а обнаружив на какой-то день фифочкиного вселения ее отсутствие. И он стал жить в этом цветнике, в этой благоухающей всеми оттенками цветочных запахов клумбе из дюжины женщин под постоянным прицелом их сияющих в него глаз. Он стал пребывать в этом цветнике сам не свой. И его хватало только подивиться тому обстоятельству, что большая часть этого цветника были или незамужними, или разведенками. «Нету мужиков!» — говорили незамужние. — «А это не мужики!» — говорили про бывших мужей разведенные. Ему это было странным. Ему это было просто непонятным. В бригаде практически каждый офицер или прапорщик, за вычетом разве что Чеки, был женат. Служба была в бригаде, то есть вообще в их ведомстве, ну просто мед с вареньем, присыпанная сверху сахарной пудрой. За такую службу, конечно, не платили — а что платить, коли и так до скуловороченья, до вывиха ноздрей служить было сладко. Счастьем было, если вечером перед уходом домой удавалось заполучить у завстоловой буханку хлеба.

— Ребята! Мужики! Товарищи офицеры! Ну не могу я вам хлеб раздать! Мне солдатиков надо кормить! Меня же под трибунал отдадут! — рвал китель завстоловой.

Но по какой-то самим установленной очереди он каждый вечер кому-то хлебушка всучивал. И было за счастье лететь орлом домой и нести в клюве своей орлице и своим орлятам этот хлебушко. И никто ни от кого не уходил. И получалось, тем женщинам мужики были. А этим женщинам мужиков не было. Станным ему это было. И странным ему было ловить их сияющие в него взгляды. За его пенсией в шесть тысяч, ну, плюс две за боевые, за его восемь тысяч пенсии и за его ранения с контузи-

ей, принесшие ему скачущее давление и списание в пиджаки, они видели мужика. А за хорошие зарплаты, за «БМВ» с «лексусами» и внедорожниками они мужиков не видели.

Фифа была русской, но с какой-то литовской фамилией Скунсус или Скунскус — причем не Скунсене или Скунскене, как того требует литовская грамматика для замужних женщин. При своей страшности она была счастлива замужем, о муже и малом дите говорила с придыханием. И вообще она с ним, с Саней, тоже говорила с придыханием. Он этого придыхания стал сразу бояться. Это придыхание его стало волновать.

— Это ничего, что я просилась только на два-три дня, а нахожусь у вас уже месяц? — спрашивала с придыханием она.

— Это ничего, — кивал он и старался тотчас же найти занятие или просто отойти от нее на расстояние.

И однажды в понедельник он пришел к себе в офис, уже за несколько шагов не угадывая привычного гула женских голосов и гула женского аромата. Он взялся за дверную ручку и на мгновение замер. Это было похожем на то, как если бы он замер, задев растяжку. А если точнее, то так замирает зеленый пацан. Ведь четыре секунды дает судьба. И если сразу почувствовать тот миг, когда коснулся растяжки, — тогда судьба дает четыре секунды. И такое было. За четыре секунды успели все брякнуться наземь, а он, Саня, как теперь принято в российских вооруженных силах, успел закрыть собой ближнего к взрыву бойца и, кроме прочих осколков, получил сквозной осколок в голову. И потом, сказав по связи, что есть два трехсотых: он, Саня, и боец с ранением в чушку, разделившись на две группы — одним продолжать задачу, другим нести Саню — бегом, шесть часов бегом несли Саню до места, где смогла приземлиться вертушка. А бойцу, пацану, от души напинали — какого хрена не брякнулся, как, стерши глотки, учили отцы-командиры, и напинали в назидание, чтобы остаток жизни благодарил судьбу в виде Сани, то есть благодаря Сане задевшему его только по чушке, да и то касательно.

И Саня в понедельник за несколько шагов до офисной двери почувствовал отсутствие

уже ставшего родным гула женских голосов и гула женского аромата.

Дверь была незакрытой. В офисе не было ничего. Не было даже кресла. О зеленой мухе, заблаговременно смывшейся в форточку, уже говорилось. В офисе у Сани не было ничего.

Он купил и кресло, и компьютер. Он заплатил штраф за жуткий перерасход электричества сверх лимитов. И он — вот уж подлинный дурак — нашел фифу, и пришел, и сказал, мол, как же так.

— Мужчина! Вы кто? Я сейчас вызову охрану! — с абсолютным презрением во взгляде и полным отсутствием придыхания завизжала фифа.

И женщины в него не сияли взглядами. И — это он потом отметил — в момент его прихода и за несколько шагов до его прихода не было гула женского аромата. Вот так странно случилось с женщинами.

7

Саня вошел в свою улицу Пушкинскую, по пустынности, то есть по малолюдности, как бы сельскую улицу. Сожженными и беспорядочно брошенными бэтэрами привычно около дома профсоюзов торчали несколько иномарок. Привычно, будто на развод караула, вышел из дома профсоюзов красивый задумчивый мужчина. Он красиво и задумчиво затянулся сигаретой. Он всегда прогуливал себя и, наверно, большую часть рабочего времени он прогуливал себя. Он Сане напоминал американцев поры их совместных учений, то есть не учений, а соревнований. Великий Паша Грачев, министр обороны, сговорился о таких соревнованиях. Ехать в Америку у Паши явно не было грошей. Он пригласил Америку на уральские зеленые просторы. Приехали крупные, накачанные, затылистые, уверенные в себе и снисходительные к ним, к Саням, Чекам, Добрям, Шурупам и прочей кильке и хамсе, ко всему этому позору нации, имеющему, однако, гонор именовать себя спецназом гэрэу. Весь сей позор нации на своих заокеанских коллег набычился, подобрался пустым брюхом так, что прилипли к ребрам не только кишки с печенкой, а и те

мужские достоинства, которые полинезийцы именуют словом «уу».

— Товарищ капитан, ноздрь навывих, а мы их сделаем! — сказали они Сане.

— Да уж прошу, чтобы не приказывать! — впервые тогда сказал Саня свою знаменитую фразу.

Домой, в свой заокееан, те поехали такие же накачанные и затылистые. Но надломчик от устроенного им облома сокрыть они не смогли. Этот надломчик очень даже можно было видеть, так сказать, невооруженным глазом, и не надо было для этого шурупчиковой снайперки. Облом был таким, что, докладывали, у Паши Грачева поначалу кривая, как бы все-таки держащая удар, улыбка в конце превратилась в свирепую. А тут еще Чека в упражнении «засада» купил их, как шуку на загнутый гвоздь, точнее, как курят, купил он их на черного кота.

— Я вообще-то берег кота для лучшего случая. Но для дорогих гостей — не жалко! — сказал Чека.

Таких вот коллег из-за океана напоминал Сане этот красивый задумчивый мужчина, ставший неотъемлемой принадлежностью Пушкинской улицы. Костя рассказал, что мужчина был комсомольским работником. Костя тогда служил в политуправлении округа, пару раз пересекался с ним. Красивый мужчина ничего не делал, ничего не решал, никогда не брал на себя ответственности. Он только задумчиво и внимательно, немного за спину смотрел всем, с кем разговаривал, будто видел там горизонты коммунизма, к которым так безыдейно и безответственно повернулся задом его собеседник. И этим взглядом он навсегда обеспечил себе карьеру сначала комсомольского работника, а теперь работника, в любую минуту могущего ходить по Пушкинской улице в значительном выражении лица и в значительной позе курить.

За несколько шагов до офиса Саня услышал требовательную трель телефона и мягкий голос секретаря. Времена, когда ему приходилось просто сидеть и бороться с воспоминаниями, прошли. Его задачей, если считать постарому, было наблюдение. Фирма на Урале располагала определенной производственной собственностью. В наработку авторитета фир-

мы он был обязан устанавливать степень ответственности потенциального партнера, с тем чтобы фирма могла знать, что имеет дело только с элитным партнером. Сама фирма, как Саня догадывался, горела синим пламенем, платила Сане в полном соответствии с его прежней службой и столько, что Саня со своей пенсией против фирменной зарплаты казался себе олигархом. Но фирма посадила Сане секретаря. Всей задачи секретарю, вальяжной женщине, еще не потерявшей остатков красоты, было охать и говорить, что ей надо найти другую работу. Саня секретаря стеснялся. Сначала он верил ее словам о другой работе, потом понял — женщина здесь была на своем месте, ибо ничего другого делать не умела. Саня тоже, кроме как воевать, ничего делать не умел. Так они и сидели, так и ждали, когда фирма сгорит.

Секретарь тотчас наговорила Сане кучу новостей про то и про это, про то, что показывал вчера телевизор, про то, что писали «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «За здоровый образ жизни», про то, что сказали Путин с Медведевым, Кондолиза Райс, Миша Саакашвили и девушка с косою Юля — не надо забывать, что все они были видными политическими деятелями современности. Сказала она про своего кота, совсем не интересующегося кошечками, и своего мужа, совсем не интересующегося ею, про дочь, у которой на работе из-за шефа не совсем было все в порядке, и внука, который рос ну совершенным ангелом и вундером. После этого она спросила, не надо ли Сане чаю, снова рассказала про то и про это, то есть уже про другое то и это — про подругу, абсолютную неумеху и растяпу, но от которой муж до сих пор был без ума, про сына другой подруги, плотно подсевшего на иглу и все тащущего из дома, про абсолютно невкусную, какую-то кисло-мыльную, купленную вчера в супермаркете, копченую колбасу. И про многое другое стала говорить Сане секретарь. Сане всегда при ее разговоре было стыдно, будто он был ответствен за секретаря. Прервать же ее у Сани не хватало характера.

Он вспрял, когда она сделала себе передышку и пошла за почтой. Он тотчас стал звонить Женечке. Он уже набрал несколько цифр ее номера, но вдруг остановился, успокаивая

сердце. Пока успокаивал, ненароком посмотрел на стол секретаря, и в логическую цепочку от нескончаемости ее слов он вспомнил задумчивого мужчину, которому в затылок сразу выстроились американцы. Он заулыбался, так как за американцами всплыл черный кот Чеки.

Идея Чеки с котом была зияюще простой. Однако эту идею надо было поймать.

— Нет, товарищ прапорщик, не получится! — засомневались ухарики Чеки.

На дискуссию времени не было. Чека сказал: — Будем!

Ухарики рассредоточились и притащили черного, пушистого и даже, можно сказать, смазливового кота:

— Во!

Валерьянки в санчасти не дали.

— Зачем вам, прапорщик? — спросил врач. — Если для этого, — врач имел в виду дернуть, — то не рекомендую. Для этого лучше настойка боярышника. Но у меня и ее нет.

Занять денег было не у кого. Никому не платили. Чека взял у жены новенькие домашние тапочки с помпончиками — его же подарок на Восьмое марта — и отнес торговке. Денег хватило на целых пять фандуриков, то есть, проще говоря, на поллитровку. Дали коту. Он отреагировал очень индифферентно. Взяли его за руки-за ноги, то есть за передние и задние лапы, чтобы не брыкался, раскрыли пасть и ленули¹. Вынужденно кот, конечно, выпил, окосел, приобрел походочку, будто в море лодочка, но еще просить не стал.

— Ничего, привыкнет. Будем поить — привыкнет! — сказал Чека.

— Сами быстрее привыкнем! — опять засомневались ухарики.

— Кто первый привыкнет, тот и пойдет вместо кота! — сказал Чека.

Сутки прошли — кот не привык. Чека загрустил.

— Древний Рим спасли гуси. А Америку спас какой-то кот! — в сердцах сказал он.

— Может, и у котов бывают непьющие. Или этот уже завязал! — посочувствовали ухарики, опять рассредоточились и опять притащили черного кота, но какого-то такого, в которого Чека сразу поверил: этот не подведет!

— Да тот-то кошкой оказался, товарищ пра-

порщик! Нам его хозяйка сказала! А кошки валерьянку не пьют! — сообщили они.

Новый кот на ходу подхватил задачу. Чека с валерьянкой залег по одну сторону дороги. Добря, замок, то есть заместитель Чеки, пустил кота с другой стороны. Получилось — лучше не бывает. Кот стрелой кинулся к валерьянке. Повторили — результат был один к одному. Усложнили задачу, то есть довели ее до необходимого. Чека с валерьянкой опять залег по одну сторону дороги, Добря с котом — по другую, а ухарики покатали по дороге на «Урале». «Урал» кота не остановил. А кот «Урал» остановил. Только он стрелой вылетел от Добри к Чеке, как ухарикам невольно пришлось дать по тормозам.

— Черт! Сам не ожидал! Ведь знал, но нога сама надавила на тормоз! — признался водитель.

— И все-таки! — сказал Чека и велел перед американцами обвязать кота тонкой леской. — Хрен его знает, на всякий случай. Вдруг кот окажется патриотом и кинется американцам морду бить! — прибавил он.

Кот морду бить американцам не стал. Тут Чека был о нем лучшего мнения. Кот перед американцами на дорогу не пошел. Те, как и положено по заданию, катили по дороге на «Урале», Добря в нужный момент пустил кота, а тот — ноу! Добря его пинком — в зад. Чека ему навстречу — валерьянкой. А тот — нет, тот: ноу — и все.

— Он что, трус или заокеанский засланец! — едва не заорал Чека и леской попер его через дорогу.

Потом американское начальство спросило наше начальство.

— Скажите, — спросило оно, — кто был это маленькое черное чудовище, которое четырьмя лапами упиралось и не хотело перейти дорогу, но все равно ее переходило?

Ответа не слышал ни Саня, ни Чека, то есть прапорщик Сурков Алексей Петрович. Только начштаба бригады полковник Орлов, находившийся с американцами в «Урале», спросил:

— Честно, Алеша, а что это было? Я сам едва не вспотел, когда увидел.

Вот такое воспоминание выровняло Саню.

¹ Ленуть — от глагола «лить» (диалект.).

С Женечкой было договорено сегодня быть в театре, где один очень большой человек, в смысле его служебного положения, давал концерт своих произведений. В театре должна была быть вся элита города. О концерте в среде элиты несколько дней говорили. Говорили не так, как нам донесли в своих романах писатели девятнадцатого века. Говорили реже и без отличающего публику девятнадцатого века преклонения едва ли не перед каждым служителем Мельпомены. Но все-таки о концерте говорили, потому что быть на нем многим много значило. На концерт был приглашен даже московский шеф Сани, однокурсник очень большого человека, который приехать отказался, а приглашение передал Сане.

Возможно, в своих суждениях Саня очень ошибался, как уже несколько раз ошибся. Вполне возможно, очень большой в административном отношении человек мог сочетать свои творческие способности с административными, и наоборот. Только Саня не мог разрешить задачку, в которой ни у которого из воjak никогда не было никакого времени ни на какое творчество, не связанное со службой. Да ни у кого из них не было не только времени, у них не было и средств. У них вообще ничего не было, кроме возможности сверху вниз фигуристо и фасонисто орать и грозить служебным несоответствием на любой рапорт по команде, потому что ничем иным они ответить не могли. У них не было ничего, кроме дырки в башке, насвиставшей им когда-то стать воjками. У них не было ни денежного довольствия, попиджачному, зарплаты, ни квартиры, ни постоянного места жительства, ни казарм для солдатиков, ни теплых боксов для техники, как не было самой техники, если не считать технику времен царя-батюшки, как не было современного вооружения, современной экипировки. А у гражданских начальников все им нужное и даже сверх нужного, оказывается, было.

Саня это прокачал и поступил нетривиально, как должно поступить служащему его ведомства, хотя и с риском, превышающим разумные пределы, о которых гласят служебные документы. Саня как бы в оплату всех своих

бесплатных и, выходило, дурацких ратных трудов в чувстве глубокой справедливости попросил у шефа билет и для Женечки. Шеф был человеком чутким и не без юмора. Он при том, что сам быть в театре отказался, попросил у очень большого человека еще одно приглашение. От очень большого человека Сане позвонила секретарь и выверенным сочетанием строгости с благожелательностью довела до сведения Сани сугубую эксклюзивность приглашений. Саня опять позвонил шефу. Шеф опять позвонил очень большому человеку. От очень большого человека опять позвонила строгая, но одновременно благожелательная секретарь и сказала о вдруг появившейся возможности еще одного эксклюзива.

Женечка была просто красавицей. В свои двадцать пять она уже была бухгалтером хорошей фирмы. Они познакомились весной. Поздно вечером Саня ловил машину. Остановилась Женечка.

— Что же вы так поздно? — спросил он.

— С работы. Бухгалтерский отчет, — сказала она.

— И не испугались? — спросил он.

— Наверно, впервые не испугалась, — помолчав, сказала она.

— Это у вас «Лексус»? — спросил он.

— «Лексус», — подтвердила она, чем вдруг ввела его в смущение. Очень не захотелось ему верить в свое представление о том, как добываются «лексусы» такими молодыми, как она, женщинами.

— А у вас? — спросила она.

— Что? — не понял он.

— У вас какая марка? — повторила она.

— У меня шестнадцать бэтээров, — сказал он и прибавил: — Было.

Их отношения складывались очень неровно. Он не мог понять, зачем он нужен ей, юной красивой и эффектной женщине, и никогда ей не звонил, никогда к ней не заходил и даже не знал адреса ее фирмы. Она стала к нему заходить сама, взволнованная и напряженная, скрывающая свой приход за какой-нибудь всякий раз новой причиной, по которой она якобы оказалась на Пушкинской улице или рядышком, и, оказавшись здесь или рядышком, якобы не могла не зайти. Трудно было

сказать, радовался он или не радовался ее приходам. Можно было сказать одно — он не знал, что в такие минуты делать. Он боялся оказаться солдафоном, казармой, стариком, вообще человеком из иного мира, из иной эпохи, из иного языка и из иного жизненного уклада, каким, собственно, Саня и был. Язык и интонация речи ее поколения, ее интеллект ему были чужими. И, кажется, все в ней ему было чужим. Но он признавался себе, что ее внешняя красота, ее изящество, ее наряды, парфюм и ее посещения волновали его как мужчину. Ничего другого в себя он не пускал, закрывшись все тем же бэтээровским люком: зачем он ей, старый дурак, нужен.

Пробило, если, конечно, пробило, его только в связи с этим концертом и с историей с билетами. Получив вчера второй, страшно сказать, эксклюзив, он позвонил ей. Она радостно откликнулась.

— Как классно! — возликовала она. — Я только утром прилетела из Египта, и вы мне звоните!

Она сказала, что к театру приедет троллейбусом. И приехала в черном вечернем платье, наверно, от самой мадам Коко, и такая красивая, такая молодая, счастливая, что он задом-задом едва не попытался скрыться. Что говорить, если уж Кушка — смотри на карте самую южную точку Советского Союза — это дырка на тыльной части солдатского организма, то тут ничего не поделаешь, потому как у некоторых, типа Сани, самая верхняя часть того же организма, то есть башка, похоже, находилась как раз вокруг Кушки. Воистину: «Пехоту высадили на три сто...» Но Женечка просияла ему счастливой улыбкой. И впервые за все отношения между ними, да, кажется, впервые с его лейтенантства, если не вообще впервые в жизни, он поверил в какую-то иную судьбу, нежели была у него.

— Я только вчера из Египта, и вы звоните! Как классно! — снова сказала Женечка.

Она подошла к нему так близко, что он, кажется, услышал удары ее сердца.

— А не загорели! — сказал он как можно короче. Длинной фразы он сейчас сказать не мог.

— Я не люблю загорать. Я все время была в шляпе вот с такими полями! Я к вам в этой шляпе приду! — ответила она.

Он больше говорить не мог. Глядеть на нее он тоже не мог. Возможность иной судьбы будто остановила его.

— А мама прислала вам привет и вот это, — она вынула из сумочки красиво оформленный сверточек. — Вот, ее пирожки вам!

— Мама? — спросил он совсем несуразно и вспомнил на миг того растерянного генерала.

— Я их вам потом отдам, после театра! — сказала она.

От остановки до театра была сотня метров. Они пошли — она свободно, а он через силу. Он боялся взять ее под руку. Он несколько раз нечаянно коснулся ее руки своей рукой, даже не рукой, а лишь волосами на руке. Каждое прикосновение его мучило.

— Как Египет? — спросил он опять коротко, чтобы скрыть мучение.

— Классно! Я вам расскажу! — откликнулась она.

Он снова почувствовал в ее голосе нескрываемую счастливую улыбку.

Посмотреть на нее он смог только в вестибюле второго этажа театра, когда из-за толчи все-таки пришлось взять ее под руку, а потом вообще встать близко-близко друг к другу, так что она несколько раз невольно коснулась его грудью. Надо ли говорить, что в эти мгновения он каменел и изо всех сил делал вид, что этих прикосновений не заметил. А потом насмелился и посмотрел на нее. Он посмотрел коротко. Она в своем нескрываемом счастье пыталась оглядеться вокруг. Рост ей этого не позволял. Но она все равно пыталась. Он понял. Она просто искала кого-нибудь, кто бы увидел их вместе — ее, его и ее счастье. Ему тоже захотелось, чтобы кто-то увидел. Что-то с ним случилось. Ему захотелось нежно обнять ее и тем как бы отблагодарить за ее счастье. Под предлогом, что вокруг толкутся, он взял ее за плечи.

— Толкутся, — сказал он.

— Толкутся, — сказала она, всхмутив бровки. Глаза при этом продолжали лучиться счастьем.

Тут же их действительно толкнули. Он ее почувствовал всю от короткого и какого-то ароматного, будто айва, дыхания до щиколотки, которой она в удержании равновесия угодила в его щиколотку.

— И правда толкутся! — сказал он.

— Правда, толкутся! — счастливо сказала она.

— Ну как все-таки в Египте? — спросил он в прихлынувшей легкости.

— Очень классно, Александр Михайлович! Там... — начала она.

— Да просто Саша или Саня, как звали меня в бригаде! — попросил он.

— Хорошо, — согласилась она. — Я не знаю, с чего рассказывать. Представляете, там такие пирамиды. Они на самом деле совсем не такие, как на фотографии. Там все классно. Сначала там жили египтяне. Потом через сколько-то лет пришли арабы. Потом там правила царица Клеопатра.

— Нет, от начала пирамид и до царицы Клеопатры прошло несколько тысяч лет, потом еще почти через тысячу лет пришли арабы, — поправил он, хотя почувствовал, что не следовало поправлять, следовало только слушать счастливый ее голос, видеть ее сияющие на него глаза и чувствовать в своих ладонях теплый трепет ее плеч.

— Да, правильно. Я все перепутала. Но это не важно, Александр Михайлович, то есть Саша! Наверно, я вам кажусь глупой. Да я и есть глупая, кроме своей бухгалтерии ничего не знаю. Но...

Она запнулась, а он, поймав в ее голосе страстные и больно рождаемые нотки, едва не сказал за нее то, что заставило ее запнуться, да и его самого заставило запнуться. «Но я люблю вас!.. — вычеканил он в себе ее невысказанные слова и тотчас открестился: — Нет, нет! Это я придумал сам, старый дурак!» Признать не высказанные ею и вычеканенные им слова было не только невозможно, но признанием этого выходило явить себя подлинно старым дураком, причем дураком самовлюбленным и похотливым. А уж как Саня ни величал себя, он все-таки надеялся, что это не так, что он все-таки еще не старый дурак, что впереди у него может случиться что-то значительное, хорошее, такое, как вот немного времени назад он понял о возможной перемене в его судьбе.

Она запнулась, посмотрела на него растерянно.

— Ну, все это было раньше — и все. А кто кого на сколько раньше — вот просто так — разве это важно! — сказала она.

Он понял ее «раньше — и все!», понял, что

вместе с теми тысячелетиями она не считает и их собственную разницу в годах.

«Какой же сегодня день открытий», — отнеся все только к ней, подумал он. Тотчас снова мелькнул генерал из оврага и мелькнул комбат, по-ихнему Лом, батяня, практически тоже пославший того генерала по тому же адресу. Они мелькнули. Можно было бы расстроиться, что они мелькнули в такой момент. Но Саня в свете своего дня открытий, отнесенного только к ней, увидел вдруг тот случай по-новому, тоже с открытием. В следующий миг Саня уже не помнил ни генерала, ни батяню Лома. Однако батяня страшно рисковал.

Генерал скумекал, как выражались во времена холопства, чьих такие орелики могли быть, и прикатил в отряд к Лому.

— Это чьи отморозки, которые только что послали меня на «уу»? — заорал он, естественно, русским, а не полинезийским означением адреса. — Я сейчас их видел у тебя в расположении. Чьи это отморозки? Твои?

— Так точно, товарищ генерал, мои! — сознанлся Лом.

— Ладненько! — опешил генерал. — Ладно. Ну, все! — он вышел из палатки, не зная, что сказать еще, дошел до «узика» и вдруг круто повернул обратно. — А смотри-ка, подполковник! Они могут генерала на «уу» посылать. Значит, они смогут мне штурмовать вот эту высоту, — генерал ткнул в карту. — У меня нечем высоту взять, а они могут генерала на «уу» посылать! Давай, подполковник, заворачивай их. И чтобы взяли!

Посылать на штурм высоты одну группу, то есть два десятка человек, даже таких, какими были ухарики Сани, — было преступлением. Преступлением было вообще губить их. И комбата Лома осенило.

— Так ведь они уже ушли на новую задачу, товарищ генерал! — объявил Лом.

— Куда ушли? Что ты мне, подполковник, впариваешь! Я лично видел их только что у тебя в расположении! Ты что, подполковник, меня за «уу» не считаешь? — едва не в родимчике зашелся генерал. — Адъютант! Быстро туда! А ты, подполковник, если соврал, лично поведешь их штурмовать и если останешься живой, посмотрим твое должностное

соответствие и посмотрим твои звезды на погонах!

Адъютант вернулся тотчас, нехорошо посмотрел на Лома, вполголоса доложил генералу: действительно их там нет.

А их там уже не должно было быть, потому что, лишь генерал шагнул за дверь палатки, Лом, батяня, мотавший четвертую или пятую войну, погнал к Сане, капитану Михайлову, посыльного. Саня сидел со своими ухариками, кипятил водичку на спиртовых таблетках и мечтал, как эта водичка закипит, как он опустит в нее чайный пакетик, как потом пошлет этот чаек себе в нутро и чутко будет наблюдать прохождение этого чайка из глотки в брюхо. Ажиотажа после нескольких суток задачи ждал Саня. А прибухал посыльный и грубо заорал:

— Сбор, товарищ капитан! Бегом! Километр южнее отсюда и замаскироваться!

— Что? — едва не хватил по уху посыльного Саня. — Какой на «уу» бегом! Какой на «уу» километр южнее!

— Приказ комбата, товарищ капитан! — оборонился посыльный.

— Пока я чаю не выпью, я и «уу» не пошевелю! — рассвирепел Саня.

— Товарищ капитан! Сейчас генерал сюда зайдет. Комбат приказал вас предупредить! — наконец объяснил посыльный.

9

Женечка больше ничего не стала говорить. И он тоже ничего не стал говорить. Он даже опустил руки. Она немного от него отвернулась, будто надулась. Он тоже немного отвернулся. Оба даже затаили дыхание. Оба от этого стали задыхаться. Но что делать далее, оба не знали. Может быть, оба и упали бы в обмороки. Шутка, конечно. Не упали бы. Но спасением им стали отворившиеся двери в зал, на балкон и приглашение служительницы театра проходить.

Они встрепенились, прошли к своим местам, признали их удачными. Да они признали бы их удачными, будь они совсем не удачными. Получалось, они пришли слушать не кон-

церт, а пришли слушать себя. Женечка снова заговорила о поездке. Он с шутивным упреком спросил, что же она поехала, не сказав ему. Она призналась, что хотела сказать, но так как они редко встречались, не получилось сказать само собой. Он почувствовал, что она об этом жалеет, и попытался ее успокоить.

— А можно я что-то вам скажу? — спросила она.

— Можно, — легко сказал он.

— Я там в каждом военном, ну, их, египетском, военном, видела вас. Как увижу, так... Мне очень хотелось вас увидеть! — выдохнула она.

Он взял ее ладонь в свою. Ее пальцы ответили. «Господи! Как это, оказывается, легко: полюбить!» — с неожиданной силой открыл он. К этому будто ниоткуда, а на самом деле из давней его поры пришли слова: «Любовь не мыслит зла. Она всего надеется, все переносит. Она никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Так давно-давно, еще на первой его войне, еще в пору лейтенантства, сказал ему молодой священник, а он этих слов тогда будто не услышал. Сейчас они пришли. Он замер, слушая пальчики Женечки и эти слова. Он понял, что тоже ее ждал и смотрел с высоты своего трамвайного места на «БМВ» и «лексусы» не только потому, что ему хотелось еще раз отметить, так сказать, абсолютную отстраненность их владелиц, а еще он смотрел в неосознаваемом, но уже живущем в нем желании увидеть ее.

— Вот вы теперь будете... вы теперь все знаете и будете... — она снова запнулась, и он снова знал, как продолжить ее слова.

— Что вы, нет! — сжал он ее пальцы. — Я тоже, я тоже всюду вас видел!.. — он тоже запнулся, не умея сказать, как он ее видел всюду и как не понимал, что видел.

И вдруг он почувствовал, что в зале, где-то сзади него, находится его жена. Он почувствовал ее взгляд. Он не захотел его чувствовать, ибо он весь был в пришедших словах и в ответе пальчиков Женечки. И потому он засомневался, не показалось ли. Взгляд, однако, усилился. Сане пришлось поверить — все-таки это шестое, седьмое или какое там чувство работало в нем довольно стабильно, если не счи-

тать случая с липами и еще пары подобных случаев. «Оглядываться неприлично», — сказал он себе. «Любовь не мыслит зла, не раздражается», — снова сказал молодой священник.

— Что-то случилось? — спросила Женечка.

— Нет, ничего, — сказал он и вдруг бухнул: — Во сне я сегодня видел липы. А как они называются, забыл!

— Липы? — удивилась она.

— Да так, пустое. Что-то вдруг вспомнилось! — попытался сказать он беспечно.

Он только сейчас вспомнил, что после контузии липы во сне стали предвещать ему болезнь.

От взгляда ему стало совсем невыносимо. Он напрягся, сказав себе: «Только не здесь!»

— Саша, что с вами? — напрягла пальчики Женечка.

— Нет, ничего, — сказал он и все-таки оглянулся.

В уходящем свете ламп и среди множества и множества людей он увидел жену. Не успело сердце бухнуть, как он понял, что ошибся. Жены в зале не было.

— Я сейчас, Женечка! — с быстро нарастающим давлением в голове встал он. — «Только не здесь!» — подумал он про insult.

Через час он вошел в свою квартирку.

— Здравствуй, семья! — привычно сказал он.

Он упал и заревел, даже не заревел, а сдавленно закакал — так было некрасиво, так было по-лягушачьи то, что он делал, уткнув лицо в давно не стиранное диванное покрывало.

На первой своей войне в девяносто втором в Цхинвале лейтенант Саня, как было сказано в его личном деле, участвовал в охране и обороне аэродрома вертолетного полка, в сопровождении колонн с беженцами. Ему по связи сообщили: приехала жена с дочкой. «Какого хрена!» — заорал он. Сильные помехи не дали им поговорить. Он кричал, чтобы она никуда не отлучалась из части. А она, как говорили потом, пошла к ближайшему базарчику за фруктами. В часть она не вернулась. Ее вместе с дочкой нашли изнасилованными и убитыми.

Молодой местный священник говорил ему о любви.

□

Арсен Борисович ТИТОВ —

прозаик, публицист.

Родился в 1948 году в с. Старо-Базаново в Башкирии.

Окончил Уральский государственный университет.

В литературе дебютировал в 1986 году.

Публиковался в журналах «Урал», «Дружба народов»,

«Наш современник», «Роман-журнал XX век»,

многих других региональных изданиях России, Грузии, а также США.

Автор одиннадцати книг.

Был переведен на грузинский и английский языки.

Отмечен литературными премиями губернатора Свердловской области (1998), Всероссийской премией имени Д.Н. Мамина-Сибиряка (2003),

Всероссийской премией имени П.П. Бажова (2005),

Всероссийской премией имени генералиссимуса А.В. Суворова (2008), премией губернатора Свердловской области (2008) и другими.

Председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей.

В журнале «Север» публикуется впервые.

